

Николай Ахшарумов

О романе «Преступление и наказание»



Николай Дмитриевич Ахшарумов

О романе «Преступление и наказание»

«В том, что Раскольников думал об этом вопросе долго с теоретической его стороны, нет никакого сомнения. В этом свидетельствует его статья, написанная два месяца перед тем и главною темой которой было *преступление*. В этой статье он успел уж додуматься до довольно рискованных заключений. Он успел, например, убедить себя, „что необыкновенный человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право... разрешить своей совести... перешагнуть через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для целого человечества) того потребует“...»

**Николай Дмитриевич
Ахшарумов
О романе «Преступление и
наказание»**

<...> В том, что Раскольников думал об этом вопросе долго с теоретической его стороны, нет никакого сомнения. В этом свидетельствует его статья, написанная два месяца перед тем и главною темой которой было *преступление*. В этой статье он успел уж додуматься до довольно рискованных заключений. Он успел, например, убедить себя, «что необыкновенный человек имеет право... то есть не официальное право, а сам имеет право... разрешить своей совестью... перешагнуть через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для целого человечества) того потребует. Так, например, если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия, вследствие каких-нибудь комбинаций, никаким образом не могли бы стать известными людям иначе, как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших бы этому открытию или ставших бы на пути как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан... *устранить* этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои от-

крытия всему человечеству...». Все это далеко не ново и так не хитро, что человек умственно зрелый может и сам понять, где тут кроется ложь; а потому мы и займемся этим впоследствии, на досуге; теперь же посмотрим, что далее?.. Далее – «все, ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и т. д., все до единого были преступники уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и уж конечно, не останавливались и перед кровью, если только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь. Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы...». Вывод такой, «что и все, не то что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природе своей быть непременно преступниками, более или менее разумеется. Иначе им

трудно выйти из колеи, а оставаться в колее они, конечно, не могут согласиться, опять-таки по природе своей, а по-моему, так даже и обязаны не соглашаться...».

...Вывод весьма замечательный, потому что он нам указывает, куда, может быть, неприметно для самого Раскольникова, но тем не менее очевидно для нас, клонила умственная его работа. С высоты исторических парадоксов, олицетворенных им в колоссальных фигурах Наполеона и Магомета, он инстинктивно стремился сойти к той крайне неопределенной черте, которая отделяет последний разбор общественных деятелей и людей, выходящих из ряда, от несметного множества двусмысленных личностей, *чуть-чуть выходящих из колеи, чуть-чуть способных сказать что-нибудь новенькое*, от таких, одним словом, насчет которых весьма мудрено решить: вышли ли они из колеи по природе своей или попросту соскочили с рельсов. <...>

<...> Что нужно сделать?.. Где и когда и каким образом? И точно ли он из тех, которые могут себе разрешить это по совести, ради

высших целей? И где у него эти высшие цели?.. Где силы Ньютона и где открытия Кеплера?.. И кто стоит у него на дороге, препятствуя ему сделаться благодетелем человечества?.. Все это страшно сбивало и путало мысленную его работу, а тут нужда стегает его своим тяжелым бичом, как пугливую лошадь, упершуюся в пяти шагах от барьера, и он дошел до последней крайности, и идти больше некуда; а понимаете ли, что значит: когда человеку некуда уже больше идти?.. Как замкнут должен быть человек в себе, как удален от всякого освежающего дуновения извне, и с каким лихорадочным жаром должна в нем работать мысль, отыскивая какую-нибудь щелочку, какой-нибудь выход!.. И как болезненно раздражена должна быть фантазия, какие сны должны грезиться, какие предчувствия мучить, какой легкий доступ для суеверия с его одуряющей, темною силою!.. Какое фатальное впечатление может произвести малейший намек извне, самый ничтожный случай, дающий хотя и обманчивую, но все-таки какую-нибудь точку опоры для мысли, изнемогающей в колебаниях и отступающей на каж-

дом шагу?.. На все это мы находим ответы в романе. <...>

И вот наконец в уединенной его мастерской, из этого мучительного процесса мысли, вылупился, как цыпленок из яйца, первый зародыш *дела*, первое, ясное, представление: куда надо идти и что именно сделать. Голодная мысль набросилась на этот отвратительный кусок пищи с неудержимой жадностью, и, несмотря на то, что его при этом почти непрерывно тошнило, он дал ей полную волю. Что за беда? Ведь это не дело еще, это только простой расчет и прикидка, не обязывающие его ни к чему. В его воле всегда будет сделать или не сделать; но на тот случай, если бы после когда-нибудь, неизвестно когда, он нашел нужным *сделать*, то почему не обдумать сперва?.. И вот он начал обдумывать, не замечая того, что в этом обдумывании есть притягательная сила, против которой весьма мудро устоять. Творческий процесс мысли, посредством которого она зарождает дело, начинается нечувствительно, бессознательно, но, чем далее он подвигается, тем менее от нее зависит остановить его и истребить зародыш

в зерне. Он крепнет, растет, перетягивает в себя все силы матери и, наконец, отделив себя от нее как нечто самостоятельное, становится властелином ее, подчиняет ее себе совершенно. Нечто подобное произошло и с Раскольниковым. Блудливое любопытство нужды и отсутствие всяких других занятий заставляли его сперва играть с этим зародышем мысли как с страшной игрушкой, и он так привык к этой игре, так был убежден, что это только игра и что из мысли не выйдет дела, что незаметно втянулся в эту игру до того, что не мог уже оторваться от нее, до того, что стал чувствовать наконец, как роли переменялись, и то, чем он забавлялся, овладев им, стало его давить и тянуть к себе, и он сам стал игрушкой у него в руках. Тогда-то он струсил и стал закрывать глаза, чтобы не видеть произведения своей мысли, но оно было в нем, и он видел его, не мог не видеть его ежеминутно. Оно выросло, и все члены его были развиты, готовы к действию. Он сам способствовал этому, сам все придумал и подготовил давно. Топор был выбран как орудие и где его взять решено. Петля под пальто, под левою мышкою,

чтобы привесить и скрыть топор, также была придумана; иголки и нитки, чтобы пришить ее, были давно уже приготовлены и лежали на столе, в бумажке. В маленькой щели, между его «турецким» диваном и полом, приготовлен и спрятан был *мнимый заклад*. Дело дошло наконец до того, что и обманывать себя долее было уж невозможно; с ужасом он убедился, что это уж более не простая фантазия, а положительный и серьезный умысел. Он был отвратителен для Раскольниковова, но Раскольников уж не мог от него отказаться надолго, не мог оттолкнуть его от себя и только пятился от него, колебался в мучительной нерешимости, трусил, дрожал... <...>

Это была та минута, когда он почувствовал, что его начинает *втягивать*; но он сделал еще одно последнее и отчаянное усилие... Почти в горячке, в бреду, мы находим его просыпающимся на Петровском, в кустах куда он забрел накануне, не сознавая зачем, и где он уснул от утомления. Страшный сон еще мерещится ему наяву. Весь ужас того, что ему предстоит, разом обрисовался в его глазах, и он вдруг решил, что этого быть не может, что

этому не бывать... Свобода от этих чар, от колдовства, обаяния, наваждения показалась ему возможна еще. Собрав последние силы, он торжественно отрекся от всего им задуманного и шел уж домой с чувством отрадного успокоения на душе, как вдруг, совершенно нечаянно, он попал на Сенную, и это его удивило, потому что Сенная была не по дороге ему; но ужас сменил его удивление, когда он вдруг, внезапно и совершенно неожиданно, из разговора, подслушанного им мимоходом, узнал, что завтра, ровно в семь часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы, дома не будет и что, стало быть, старуха, ровно в семь часов вечера, *останется дома одна*. Этот ничтожный сам по себе случай стал для него приговором судьбы... «Он вошел к себе, как приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно».

Такова сущность психологического анализа. Глубокая правда его сообщает рассказу ха-

рактически живой, невыдуманной действительности. В результате мы видим перед собою ярко очерченный образ Раскольников. Это слабый, болезненно впечатлительный и задавленный обстоятельствами юноша, под влиянием раздраженной мысли вообразивший себя Титаном и сам, на каждом шагу, инстинктивно чувствующий свою ошибку, но не имеющий силы освободиться из-под ее обаятельного влияния. Заносчивый и блудливый, но ограниченный ум его на первой попытке выбиться из рутины, на первых шагах к самостоятельному развитию увяз в кругу узкой, парадоксальной теории и до конца не мог выбиться из нее, до конца не мог сбросить с себя это иго. Взглянем на эту теорию – она недалеко хватает и потому не задержит нас долго.

Раскольников делит людей на людей и на нелюдей. Первые у него имеют смысл сами в себе, вторые – только по отношению к первым, как материал, необходимый для их производства. Это уже довольно странно, но еще гораздо страннее вывод, который из этого делается. Если б он вывел, что первые должны жить для себя, а вторые для первых, то это, по

меньшей мере, было бы хоть последовательно; но он заключает наоборот. Первые у него живут для последних и признаются *людьми* потому только, что они имеют способность и назначение быть их благодетелями.

Затем, восходя в сферу права, он делит это понятие, как провиант, между всеми людьми, без различия, поголовно и в случаях спорных решает арифметически. Где большее число голов, там право является с плюсом, как нечто действительное и положительное; а где меньше, там с минусом, как мнимое, отрицательное и потому в действительности не существующее. В сумме весь этот вздор можно определить пятью словами. Это попытка ввести в сферу нравственной истины систему арифметических отношений. Попытка несбыточная, потому что понятие неделимо. Право уединенной личности и право миллионов людей равно, потому что здесь нет двух прав, а есть только одно, и нельзя его отрицать с одной стороны у одного человека, не отрицая тем самым с другой у всех остальных. Об эту *неделимость понятия* и спотыкается прежде всего парадокс Раскольникова. Сто

раз задает он себе все тот же вопрос и сто раз попадает в безвыходный круг противоречивых его разрешений, а одного, простого и совершенно с собою согласного не усматривает. Ему мерещатся Магометы, Наполеоны, путь этих людей, залитый кровью, и те венцы, которыми их венчали, это с одной стороны, а с другой – он, бедный студент Раскольников, за которым не признают даже права убить одну ничтожную, гадкую старушонку, несмотря на то, что он клятвенно обещает загладить это мизерное отступление от закона рядом благодеяний!.. Где тут справедливость? Да, разумеется, ее тут вовсе нет, и мы не можем понять, в чем он тут видит противоречие. Справедливости нет ни в том, что делали Магометы с Наполеонами, ни в том, что он сделал; а если их и венчала толпа, то ведь он же за то и презирает толпу. Чего ж ему больше, и если б его толпа увенчала за его пакость, то разве это было бы причиною меньше ее презирать? Или он думает не шутя, что эти Титаны были увенчаны за те благодеяния, которыми они наделили людей? Но это уже было бы слишком наивно, и хотя мы считаем Раскольнико-

ва ограниченным человеком, но все же не до такой степени.

Вот связный отчет о том, каким путем Раскольников пришел к делу. К сожалению, составляя его, мы не могли воспользоваться всею массою материала, уместившегося в шести частях. Имея в виду прежде всего связь и последовательность, мы должны были выбрать то, что, по нашему убеждению, ближе подходит к истине и по возможности меньше противоречит целому. Исполнив это без оговорок и без упреков, мы повторим еще раз, что взгляд автора на психологическую задачу, ему предстоявшую, в коренных основаниях своих верен, и затем сочтем себя уже в полном праве также без оговорок высказать некоторые сомнения, оставшиеся у нас после внимательной и подробной оценки *всех данных*.

Теоретических противоречий мы не берем в расчет. Мало ли что совмещается в голове, чего никак нельзя совместить на деле. Мы видали примеры и не такой путаницы. Поэтому мы легко поймем, что додуматься до подобной пакости Раскольников мог и оправды-

вать ее мог. Но каким образом такой лирик, Гамлет, такой малодушный и слабонервный мечтатель мог найти в себе столько решимости, чтобы исполнить действительно им задуманное, это не так-то ясно. Он понимал хорошо весь ужас, его ожидающий, всю мерзость подобного дела; его возмущало, тошнило при одной мысли о том, как он возьмет в руки топор и станет бить старуху по голове; он сам признается сто раз, что знал заранее, до какой степени он не способен на этого рода вещи, и мы верим ему, нам кажется и самим, что он был не способен. У людей с таким пылким воображением и с такою болезненною впечатлительностью – энергия страсти обыкновенно бывает слаба. Они тратят ее в таком количестве и так постоянно на дело воображаемое, что ее не хватает на дело действительное. А что Раскольников был такой именно человек, то на это и в первой части (из которой мы извлекли главнейшие материалы для нашего отчета) мы находим намеки, весьма недвусмысленные – что же сказать об остальных пяти?.. Такой ужас, такие трансы и такая глубокая, тонкая, поэтическая, местами

даже юмористическая оценка всего происходящего с ним, откуда оно взялось у этого человека? Не убийство же со всею его неизреченною мерзостью сделало из него такого поэта; а обратно предположить, что такой поэт мог сделать такую мерзость, – опять не приходится. Догматы узкой теории, горячая, отвлеченная голова, фанатизм, сосредоточивающий все страсти в пылающем фокусе одной безотвязной идеи, все это отлично подходит к убийству и могло бы нам объяснить его очень достаточно, и на все это есть намеки местами, но это не все и далеко не так очевидно, а очевидное, что нам встречается сплошь и подряд и в чем сомневаться почти нельзя, это то, что Раскольников был поэт. Эта черта господствует. Припомним сон его накануне убийства, припомним те фантастические и яркие образы, в которых ему рисуется его положение, и его разговор в трактире с Заметовым, и тот тонкий юмор, с которым он сам осмеивает свои ошибки, и верный отчет, который без зову, неудержимой навязчивостью является у него в минуты страшнейшей опасности, отчет о том, что он чувствует и что с ним проис-

ходит, и наконец, его тонкую, инстинктивную и безошибочную оценку людей с первого взгляда, с первого слова, – сообразим это все и повторим еще раз: да, Раскольников был поэт, и поэт, меньше всего способный к жестокому делу, – поэт лирический. Затем остается вопрос: каким образом он мог окунуться в такую грязь и, несмотря на весь ужас дела, сознаваемый им яснее, чем кем бы то ни было, не только задумать его, не только решиться, – но и исполнить действительно?.. Не спятил ли он совсем с ума за несколько времени перед делом и потом уже понемногу пришел в рассудок? Но во-первых, мы ни одной минуты до дела или во время дела не видим его в бессознательном состоянии. Во-вторых, если бы это действительно было так, то автор, конечно, не оставил бы нас в сомнении. Нет, автор не думал этого, и в этом ручаются нам несколько строк его эпилога, в которых он явно смеется над модной теорией *временного умопомешательства*. К тому же существенный смысл большей половины романа и одна из главнейших причин его объема, очевидно, то, что автор имел в виду довести преступни-

ка до раскаяния. Все это было бы лишнее и не имело бы даже смысла, если б Раскольников был мономан, а не преступник. Толкование этого рода, стало быть, мы не можем никак допустить. Затем остается только одно, к, по нашему мнению, единственно возможное. Мы должны допустить, что автор сделав ошибку, не отделив достаточно ясной чертой себя от своего создания. Он был, как говорили у нас во время оно, недостаточно объективен. Его собственный, местами высоколирический, местами неподражаемо юмористический взгляд на Раскольникова и на его поступок в жару увлечения нечувствительно ускользнул от него, перешел к Раскольникову и с свойственною этому последнему дерзостью усвоен был им. Очень полезно для того чтобы лучше понять изображаемое лицо, поставить себя, как говорится, на месте его, войти в его положение и пережить собственным сердцем; но сердце и сердце рознь. Того, что чувствовал бы такой поэт, как г-н Достоевский, если бы он каким-нибудь колдовством мог очутиться действительно в положении Раскольникова, того не мог, даже к приближи-

тельно, чувствовать настоящий Раскольников, а если бы мог, то он никогда не сделал бы такой мерзости. Это была ошибка – ошибка существенная, и, раз убедясь в ней, нетрудно себе объяснить, какие она имела последствия. Анализ, в основе своей глубоко верный, получил ложный оттенок, и этот ложный оттенок явился вокруг головы Раскольникова какою-то бледною ореолою падшего ангела, которая вовсе ему не к лицу. Что это был за человек, в сущности, об этом нетрудно себе составить понятие, стоит только припомнить две-три черты. Вспомним, как, например, он унижался перед полицией или хоть то, что во все время следствия ему не случилось ни разу даже и пожалеть, что других, невинных людей держат из-за него в остроге, что они лезли в петлю от ужаса и что их могут сослать на каторгу. Это ему казалось естественно, и он этому был даже рад, боялся только, чтоб истина наконец не открылась. И такой человек, едва успев вынырнуть из кровавой лужи, в которую он окунулся, вдруг поднимает голову и смотрит на все с высоты неприступной. На сердце у него всемирное горе, на языке язви-

тельная сатира; это уже не мальчик, недоучившийся в школе и с голодухи озлобленный, а со злости додумавшийся до чертиков, – это Гамлет или Фауст, человек совершенно зрелый и эстетически развитой!..

Но оставим эстетику и вернемся к рассказу.

За *преступлением* следует *наказание*. – «Следует», впрочем, мало сказано, это слово далеко не передает той неразрывной связи, какую автор провел между двумя сторонами своей задачи. Наказание начинается раньше, чем дело совершено. Оно родилось вместе с ним, срослось с ним в зародыше, неразлучно идет с ним рядом, с первой идеи о нем, с первого представления. Муки, переносимые Раскольниковым, под конец, когда дело уже сделано, до того превосходят слабую силу его, что мы удивляемся, как он их вынес. В сравнении с этими муками всякая казнь бледнеет. Это сто раз хуже казни, это пытка, и злейшая из всех, – пытка нравственная. Несколько раз она до того доходит, что он не может уже дольше терпеть и идет объявить на себя, чтоб только чем-нибудь кончить, но дело случай-

но затягивается и вдруг принимает совсем другой оборот. В одну из тех страшных минут, когда он чувствует полное омерзение к жизни, чувствует себя от всех как ножницами отрезанным и не может себе представить, чтобы когда-нибудь между людьми и им могло быть что-нибудь общее, – бедствие одного недавно знакомого ему семейства затрогивает в нем живую струну, и он делает доброе дело, маленькое, едва приметное доброе дельце, но оно падает, как капля небесной воды на запекшиеся от жажды губы того несчастного грешника, о котором рассказывает нам притча... Чистый ребенок, девочка – догоняет его на лестнице, лепечет ему сквозь слезы слова искренней благодарности, обнимает его своими худенькими ручонками и целует – целует его – *убийцу!*.. Все это вдруг освежило его удивительным образом. Это была первая минута отдыха, настоящего отдыха, первый намек, что не все для него еще кончено, что в жизни есть нечто еще, от чего и он не оторван, и это нечто так чисто, так хорошо!..

Вслед за этим на сцену является другой падший ангел – ангел – увы! с желтым биле-

том! Это кроткая Соня. Главная роль, после Раскольникова, по смыслу рассказа, должна несомненно принадлежать ей. Это несчастный, но великодушный ребенок, продающий себя для поддержки такой же несчастной семьи. Семья Мармеладовых принадлежит к числу лучших вещей, когда-нибудь созданных автором, и совершенно во вкусе его. Несмотря на ужасный смысл их положения и их отношений друг к другу, общее впечатление до того горячо и чисто и дышит таким истинно человеческим пониманием человека и любовью к человеку, что мы почти отдыхаем на нем от удушливо атмосферы ужаса и отчаяния, в которой автор нас заставляет вращаться все остальное время. Катерина Ивановна – вот настоящая героиня. Ничего меньше похожего на идеал, но вместе и ничего, в чем истинная энергия женщины заявила бы себя правдивее, громче и явственнее. Это безвыходное, отчаянное несчастье, это отсутствие всякой опоры и всякого утешения, и ввиду всего этого такая борьба! Борьба ежедневная, ежечасная, без одной минуты отдыха, без малейшей надежды на помощь или

победу, борьба без уступки и сдачи, борьба до последнего вздоха и до последнего замирания сердца!.. Что должен был чувствовать такой человек, как Раскольников, встретясь лицом к лицу с такою женщиною? Не должен ли он был сгореть от стыда, не должен ли он был показаться сам себе грязною тряпкою?..

Совершенно другого рода контраст с Катериной Ивановной мы находим в муже ее. Что за лицо! и откуда взял автор такие краски, чтоб его написать? После всех блестящих попыток г. Островского в этом роде, после всего, что мы встречали в жизни и в литературе, нам кажется, что мы никогда еще не видали пьяницу, настоящего, записного пьяницу, и никогда не знали, до чего на этой дороге может дойти человек, не делаясь между тем совершенным скотом и все еще сохраняя в себе теплую душу и мысли истинно человеческие... Что же сказать о Соне?.. Лицо это глубоко идеальное, и задача его была невыразимо трудна; поэтому, может быть, исполнение ее и кажется нам слабо. Задумана она хорошо, но ей тела недостает; несмотря на то, что она беспрестанно у нас на глазах, мы как-то не

видим ее. Все, что о ней говорят, полно смысла и рисует ее гораздо лучше, чем то, что она сама от себя говорит. Отношения этой особы к Раскольникову довольно ясны. Это был единственный человек из всех окружающих, перед которым у него хватило духу открыться и в котором он мог найти себе точку опоры. Она, с одной стороны по крайней мере, была для него или, по крайней мере, казалась ровнею; но он, конечно, не мог так скоро понять, до какой неизмеримой степени эта женщина выше его во всем остальном. После он понял, и тогда он упал перед ней на колени, тогда он отдал ей душу свою навсегда.

Все это, однако, в романе выходит вяло и бледно не столько в сравнении с энергичным колоритом других мест рассказа, сколько само по себе. Идеал не вошел в плоть и кровь, а так и остался для нас в дальнем тумане. Короче сказать, все это вышло жидко, неосязательно. <...>

<...> Остается одно лицо, позже других появляющееся на сцену, но тем не менее интересное. Лицо это – Свидригайлов. И про этого уж нельзя сказать «жидко». Это, напротив, гу-

сто и характерно в высокой степени. Мы только жалеем, что автор его очертил второпях и дал ему роль совершенно побочную. Свидригайлов выходит особняком в романе; в нем много загадочного, и даже его отношения к Дуне, сестре Раскольниковова, не довольно ясны. Нам остается неясно чувство его к этой женщине; была ли это одна сухая, зверская страсть или тут замешалось что-нибудь чище этого? Последнее вероятнее, потому что снимает всякий укор в утрировке и придает человеческий образ даже такому скоту. Сцена его с сестрою Раскольниковова отзывается мелодрамой; но и в этом не он виноват. Будь на месте ее живое лицо, могло бы выйти удачнее. Болтливая речь Свидригайлова при встречах его с Раскольниковым рисует отлично эту фигуру, рисует ее во всю богатырскую ее ширину, и мы отдыхаем на этой картине целой, несломанной силы от спазмодических трансвов Раскольниковова. Сила, в какую бы сторону она ни была направлена, все-таки сила, и мы не можем ей отказать совершенно не то чтобы в сочувствии, это много сказать, а в некотором невольном к ней уважении... Шу-

лер, мерзавец, человек, продавший себя старухе и потом уходивший эту старуху, человек, готовый растлить все молодое и свежее! Как низок должен быть в наших глазах Раскольников, чтобы стать если не ниже еще, то, по крайней мере, противнее. Его эстетическая брюзгливость во время последней беседы его с Свидригайловым и тот невозмутимо цинический, полунасмешливый тон, с которым последний ему говорит, ну да уж и вы-то ведь тоже!.. Все это полно оригинального юмора... Черты суеверия очень понятны в таком характере, понятна и щедрость, и то, что он является человеком, так, иногда, для развлечения, потому что *ведь не привилегию же он взял в самом деле делать одно только злое.* Но что остается темно, так это его самоубийство. Мы не считаем несбыточной эту развязку; напротив, она весьма возможна; но между ею и всем остальным человеком есть пробел, в романе ничем не наполненный. Мы можем только догадываться: каким образом он дошел до того, но данных, чтобы поверить наши догадки, автор нам не дал, а потому мы и не видим нужды их сообщать. <...>